

К.Н. Морозов

ФЕНОМЕН СУБКУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОГО РЕВОЛЮЦИОНЕРА НАЧАЛА XX В.¹

Несмотря на то что изучение российского революционного движения имеет и почтенный возраст, и немало ярких историков и их работ, на наш взгляд, помимо привычного обращения к организационной составляющей партийной конструкции необходимо также исследовать то, что традиционно ускользает из поля зрения историков, то, что являлось, так сказать, душой «конспиративно-элитарной организации»² — субкультуру российского революционера, которая была формой становления российского революционера как такового и всерьез повлияла и на само становление революционных партий и их традиций, без понимания которых мы не в состоянии адекватно оценить многое в истории российского революционного движения и во взаимоотношениях российских революционных партий.

Эта тема вызывала огромный интерес и у мемуаристов, и у читателей. Но, как правило, ее касались вскользь, в лучшем случае ограничиваясь описанием (порой подробным) единичных фактов или образа жизни, скажем, повседневной жизни и самоорганизации политкаторжан-карийцев (Л. Дейч), «заграничной колонии» членов Боевой организации Партии социалистов-революционеров (БО ПСР) в 1910 г. (М.М. Чернавский), рассуждениями о ментальных различиях большевиков, меньшевиков и эсеров (И.М. Майский), зарисовками поведенческих норм политзаключенных социалистов 1920–1930-х гг. (Е.Л. Олицкая) и т. д.

¹ Доклад подготовлен на материалах совместной с А.Ю. Морозовой работы над проектами “Russian Revolutionary at the End of the 19th and the Beginning of the 20th Century: Image, Mentality and Subculture” (Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation, grant N 893/2000) и «„Партийное правосудие“ и правосознание революционной среды первой четверти XX века (на материалах судебно-следственных структур РСДРП и ПСР)» (РГНФ, проект № 03-01-00234).

² Этот, на наш взгляд, весьма удачный термин использует М. Хильдермайер, пытаясь определить характер групп, из которых складывается в 1901–1902 гг. ПСР. Как правило, это были небольшие группы единомышленников, зачастую связанных между собой дружескими отношениями. Лидерство в этих группах определял высокий личностный статус. Элитарность, замкнутость, конспиративность были абсолютно необходимыми свойствами, позволявшими им существовать (хоть какое-то время) в условиях полного отсутствия легальности и полицейских преследований. См.: *Hildermeier M. Die Sozialrevolutionäre Partei Russlands. Agrarsozialismus und Modernisierung in Zarenreich (1900–1914)*. Köln; Wien, 1978. S. 32–33.

Многих революционеров и их современников эта тема отпугивала тем, что при ее исследовании современные обществоведческие науки не давали достаточно эффективных подходов и инструментов, а возможности марксистских, народнических и анархистских теорий (приверженцами которых являлись российские революционеры) были еще ограниченнее. Но само наличие данного феномена никто и не думал отрицать (как не отрицают его и современные историки революционного движения).

Революционеры-мемуаристы, пытаясь описать рассматриваемый феномен, пользовались самыми разными понятиями и терминами, такими как «честь революционера», «революционная этика», «революционная традиция», «обычное право» революционера. Докладчик по организационному вопросу на II съезде ПСР в феврале 1907 г. подчеркивал, что усложнение внутреннего устройства и взаимоотношений в партии привело к тому, что «обычное право, если можно так выразиться, уже является недостаточным регулятором, необходимы иные регламентации, более общие»¹. В 1910 г. на заседании Судебно-следственной комиссии по делу Азефа, говоря об уставе БО ПСР и об ответственности ЦК ПСР, Б.В. Савенков восклицал: «Опять Центральный комитет молчаливо одобрил если не тот формальный устав, который был принят, то обычное право, которое, собственно говоря, в этих вопросах совершенно соответствовало этому уставу»².

Научное исследование и теоретическое осмысление феномена сложно структурированной системы субкультуры российского революционера фактически умерло (или, точнее сказать, было убито), едва начавшись в 1920-е гг. С начала 1930-х гг. ни о чем подобном не приходилось даже помышлять.

В последние десятилетия появилось множество теорий, пытавшихся осмыслить феномен революционности как один из вариантов девиантного поведения. Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает направление, сложившееся в рамках теории конфликта и фокусирующее внимание на социокультурных аспектах отклоняющегося поведения. Согласно этому направлению (А. Коэн), девиантное поведение основано на нормах другой культуры. По словам исследовательницы Г.И. Авциновой, «с таких позиций революционер может рассматриваться как носитель определенной субкультуры, конфликтной по отношению к господствующим в данном обществе ценностям, ориентациям, традициям, нормам, стандартам поведения. При таком понимании девиантность представляет собой не столько следствие „сбоев“ в процессе социализации, сколько альтернативную реакцию на действующие механизмы включения индивида в социально-политическую среду, адаптацию и функционирование в ней»³.

Историки, сосредоточиваясь на исследовании программ, деятельности и организационного состояния революционных партий, долгие годы избегали не только как-либо типологизировать данное явление, но даже и называть его. Термин «субкультура» появляется в 1930-е гг., однако исследователи не применяли его к революционному движению. Одно из первых исключений — книга

¹ Партия социалистов-революционеров: Документы и материалы. М., 1996. Т. 1. С. 552.

² См.: Морозов К.Н. Партия социалистов-революционеров в 1907–1914 гг. М.: РОССПЭН, 1998. С. 175–176.

³ Авцинова Г.И. Революционер в России: история и теория. Киев, 1995. С. 65.

Б.И. Колоницкого «Символы власти и борьба за власть», где феномен хотя бы был назван — «революционная традиция» и *субкультура* революционного подполья¹.

Автором данного доклада предложен другой, более широкий и, как представляется, более точный термин — «субкультура российского революционера». Во избежание недоразумений подчеркнем, что не ставим перед собой цели и не берем обязательств немедленного и полного исследования феномена субкультуры российского революционера, ее структуры и тенденций эволюции и трансформации, этических и правовых норм ее чуть ли не вековой практики. Такая тема — предмет исследования не одного десятилетия и не только историков, но и культурологов и социальных психологов. Автор сделал лишь первые шаги по изучению некоторых аспектов этой большой и многоуровневой темы².

Социологи, культурологи, антропологи, этнографы давно и успешно пользуются термином «субкультура» в исследованиях тюремной субкультуры и молодежных контркультур. В философско-энциклопедическом словаре «Человек», подготовленном Институтом человека РАН, дано следующее определение: «Субкультура (от лат. sub — „под“) — специфический набор признаков, по которым представители определенных номинальных и реальных групп осознают и утверждают себя в качестве „мы“, отличного от остальных... Субкультура — это автономное, относительно целостное образование, включающее в себя трансформированную систему норм и ценностей традиционной для конкретного общества культуры, а также комплекс специфических социально-психологических черт и поведенческих образцов, которые в той или иной мере определяют стиль жизни и мышления ее носителей. Она включает в себя ряд более или менее ярко выраженных признаков: специфический набор ценностных ориентаций, норм поведения, взаимодействия и взаимоотношений, а также статусную структуру; набор предпочитаемых источников информации; своеобразные увлечения, вкусы и способы свободного времяпрепровождения; жаргон (или его элементы). <...> Субкультура, будучи объектом идентификации человека, является од-

¹ Колоницкий Б.И. Символы власти и борьба за власть: к изучению политической культуры российской революции 1917 года. СПб., 2001.

² Морозов К.Н., Морозова А.Ю. Обращения социалистов-эмигрантов в правоохранительные органы как отражение кризиса «партийного правосудия» и специфики правосознания эмигрантской революционной среды в 1907–1914 гг. // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 2004. № 4. С. 45–54; Морозов К.Н. Судебный процесс социалистов-революционеров и тюремное противостояние (1922–1926): этика и тактика противоборства. М., 2005; *Он же*. Партия социалистов-революционеров во время и после революции 1905–1907 гг.: Социокультурный феномен в контексте субкультуры российского революционера // Cahiers du Monde russe. 2007. Avril-Septembre. N 48/2–3, P. 301–330; Морозов К.Н., Морозова А.Ю. Границы и трактовки предательства в партийном правосудии РСДРП и ПСР и субкультуре российского революционера в первой трети XX в. // Ежегодник социальной истории. 2009 (в печати); Морозов К.Н. Тюремное сопротивление и борьба за политрежим социалистов (1918–1930-е): сущность явления, формы и парадоксы // Материалы II конференции «История сталинизма». Смоленск. 9–11 октября 2009 (в печати).

ним из способов его обособления в обществе, что и определяет ее влияние на самосознание личности, ее самоуважение и самопринятие»¹.

Говоря о некоторых методологических проблемах исследования субкультуры российского революционера в контексте темы нашего коллоквиума, следует отметить следующее. Во-первых, проблема явно требует комплексного анализа и знаний в самых различных областях, так как сама она на стыке сразу нескольких дисциплин: от истории и культурологии до психологии и юриспруденции. Во-вторых, велика опасность нарушить принцип историзма, «переводя» тончайшие нюансы ментальности и поведения человека ушедшего мира и субкультуры революционера на «язык» современного человека, с одной стороны, совсем иной ментальности, с другой — до предела напичканного советскими и постсоветскими стереотипами, с третьей — не очень-то толерантного и готового (или желающего) «не смеяться, не плакать, но понимать» особенности и нюансы чужой ментальности.

В-третьих, отделяющий нас от героев нашего исследования век, век скоростей и динамизма, кардинально изменил восприятие современного человека, желающего получить концентрат информации, породив диковинное явление — комиксы и краткие пересказы Достоевского и Льва Толстого. Проблема заключается в том, что практически все (даже сугубо деловые) документы, имеющиеся в нашем распоряжении: письма, заявления, объяснительные и докладные записки, стенограммы и протоколы заседаний, — написаны людьми, считавшими, что именно «в нюансах и спрятана правда», а потому весьма подробны и объемны. Проще говоря, то, что современный человек передал бы в одной страничке, интеллигент начала XX в. передавал на 8–10. Попытка «ужать» текст до привычного для нас восприятия в ряде случаев наносит огромный урон — теряются оттенки, нюансы, колорит, а это ведет к затруднению пониманию и без того весьма непростого явления.

В-четвертых, тупиковыми являются попытки вывести один усредненный «типаж» революционера, которые неизбежно ведут к искажению исторических реалий. Слишком уж разнородна и социально и психологически была революционная среда (особенно после Революции 1905–1907 гг.), слишком уж по-разному были «выварены» сами революционеры в котле собственной субкультуры, слишком уж по-разному следовали ее нормам даже в тех случаях, когда и вариативности особой не предполагалось.

Хронологические рамки существования субкультуры российского революционера, на наш взгляд, определяются моментом ее формирования на рубеже 1850–1860-х гг. (впрочем, ее генезис требует очень серьезного исследования) и насильственным ее уничтожением вместе с ее носителями к концу 1930-х гг. (последние ее очаги погасли в эмиграции). На наш взгляд, прав был историк Андре Либих, писавший, что когда меньшевистский «...„Социалистический Вестник“ закончил свое существование в американском изгнании в 1963 году, исчез последний кружок интеллигенции XIX века»². Прибавим только, что не просто

¹ Мудрик А.В. Субкультура // Человек. Философско-энциклопедический словарь. М., 2000. С. 364–366.

² Указатели журнала «Социалистический вестник». 1921–1963 // Социалистический вестник: Сборник: 1964–1965. Paris, 1992. С. XVIII.

российской интеллигенции, а интеллигенции — носительницы субкультуры русского революционера.

Рассматривая субкультуру российской революционной среды с рубежа 1850–1860-х гг. до конца 1930-х гг., мы приходим к выводу, что и она была не общей и единой для всех и вся, а может быть признана нами как «рамочная», как некая абстракция, как термин. Пытаясь очертить контуры субкультуры русского революционера, мы столкнемся с тем, что имеются серьезнейшие отличия не только «поколенческие» (т. е. между субкультурой народников 1870-х гг. и субкультурой эсеров и меньшевиков, поддерживавших ее и живших в ней на рубеже 1920–1930-х гг.), но даже и в рамках одного поколения — на уровне партийно-группового позиционирования. Совершенно очевидно, что серьезно отличались (если не говорить сразу о разных вариантах революционной субкультуры) южные «бунтари» и северные «пропагандисты» 1870-х гг., эсеры, социал-демократы, анархисты в начале XX в.

Современники отмечали наличие нескольких устойчивых социально-психологических типов революционеров (эсеры, анархисты, социал-демократы), порой имевших также внутреннюю градацию. Различия в ментальности и темпераменте накладывали отпечаток на всё: от политической тактики до бытовых мелочей и «тюремной тактики». Многое поможет понять отрывок из воспоминаний эсерки Е.Л. Олицкой, попавшей в 1924 г. на Соловки и сравнивавшей поведение в одинаковых условиях заключенных эсеров и меньшевиков: «Я чувствовала, что между фракцией эсеров и с.-д. какая-то отчужденность. Отдельные члены из разных фракций поддерживали между собой хорошие товарищеские отношения, но на них большинство косилось. <...> Помогла мне Александра Ипполитовна [Шесневская]. <...> **Эсеры и социал-демократы не просто разные партии. Люди, примкнувшие к этим партиям, резко отличаются друг от друга. Они разные по складу мышления, по взглядам, по образу жизни. Мы говорим „типичный эсер“ или „типичный социал-демократ“** (выделено нами. — *К.М.*). В тюрьме эти различия особенно выпирают наружу»¹.

Отражение разных социально-психологических типов заметно в противопоставлении В.М. Черновым В.И. Ленина как харизматического лидера и вождя партии себе и Г.А. Гершуни — как представителям разных типов российской революционной интеллигенции. Из черновых записей Чернова периода последней эмиграции, хранящихся в его личном фонде в ГАРФе, вытекает, что он видит две такие фигуры — самого себя и Гершуни. Противопоставление Ленина и Гершуни крайне симптоматично и дает большой материал для анализа, несмотря на то что Чернов выразил свои мысли в тезисной форме². Но еще больший интерес для целей нашего исследования представляет черновая записка Чернова, где, противопоставляя себя Ленину, он говорит о себе в третьем лице: «Ленин и Чернов, **как психологические и морально-политические типы, были действительно эквивалентны представляемым ими партиям. Оба как типы были глубоко национальны. Но в них воплощены были разные, и можно сказать,**

¹ Олицкая Е. Мои воспоминания. Франкфурт-на-Майне, 1971. Т. 1. С. 241–243.

² ГАРФ. Ф. 5847. Оп. 1. Д. 66. Л. 102–103 об.

даже полярно противоположные стороны национального русского характера (выделено нами. — *К.М.*)»¹.

Мы имеем много свидетельств, как сильно отличались социалисты разных партий по темпераменту. Самыми рассудочными, осторожными, склонными больше к словам, чем к действиям, в революционном движении считались меньшевики². А самыми бесшабашными и склонными к авантюризму, с самым ярким революционным темпераментом считались (по убыванию) анархисты, максималисты, левые эсеры, эсеры и большевики (в 1917 г. большевики удивили всех, побив все рекорды).

Впрочем, и внутри партий было достаточно большое разнообразие «типов», порой гораздо больше не схожих друг с другом, чем с родственными им «типами» из другой партии. Так, по темпераменту один из главных эсеровских типов (решительный и боевой) был близок большевикам, а другой (народолюбивый рефлексующий интеллигент) вызывал у большевиков полное отторжение и презрение. В этом контексте примечательна характеристика, выданная видному эсеру В.М. Зензинову секретным сотрудником ИНО ГПУ в 1922 г. «[На IV съезде] переизбирается в ЦК и вообще всегда будет избираться без особых протестов левых, ибо кристально чистый, симпатичный человек и притом апологет и патриот Партии. <...> Типичный член Авксентьевской Директории — бесхарактерный, нерешительный и недалекий. <...> Неустойчив, в политике недалновиден, типичный нерешительный русский интеллигент. Всё сказанное не мешает ему считать себя искренним социалистом (выделено нами. — *К.М.*)»³.

Для большевиков, считавших, что только они могут претендовать на звание истинного российского революционера и социалиста, цитированные выше слова «типичный нерешительный русский интеллигент», безусловно, были приговором для революционера, ставящим под сомнение право «считать себя искренним социалистом». Как представляется, большевики подобного «типичного нерешительного русского интеллигента» видели прежде всего и более всего (и ненавидели всеми фибрами своей души) в меньшевиках, с которыми они долгое время формально находились в рядах одной партии.

Фанатичную уверенность в собственной правоте и ненависть к «тем, кто не с нами» как характерную черту большевизма отмечал в 1949 г. меньшевик-эмигрант Г.Я. Аронсон: «Ненависть вообще была стихией большевизма, его подлинным пафосом, которым он пытался заразить и своих рабочих, и свою интеллигенцию. На этой ненависти, как на дрожжах, взошел впоследствии весь сталинизм. <...> В опубликованных в 1940 году воспоминаниях члена русского Бюро ЦК после 1912 года большевика Тимофея (Спандарьяна) отразилась психология большевиков тех лет, и особенно примечательно в этом отношении сорвавшееся у него признание: „Я больше ненавижу меньшевиков, нежели самодержавие“...»⁴.

¹ Там же. Д. 67. Л. 259.

² См. например: *Голубков А.* На два фронта. Из эпохи реакции. М.: Старый большевик, 1933. С. 21.

³ ЦА ФСБ РФ. Н—1789. Т. 63. Л. 88—88об.

⁴ *Аронсон Г.* Большевик (Опыт характеристики) // Социалистический вестник. 1949. № 10 (625). С. 179.

В.М. Зензинов, приехав в Женеву летом 1905 г., застал там новый пик ожесточенной «братоубийственной войны» между эсдеками и эсерами. «Полемика между социалистами-революционерами и социал-демократами (большевиками и меньшевиками) достигла тогда апогея. Для тех, кто сам не прошел через это, может показаться странным, до какой страстности и взаимной нетерпимости доходили люди — недаром говорят, что самая страшная борьба — борьба братоубийственная, происходящая между близкими»¹. Крайне важен его вывод о том, что нетерпимость вообще была характерна для русской интеллигентской среды, в том числе и социалистической: «Полемизировали между собой не только социал-демократы и социалисты-революционеры, но и большевики с меньшевиками. <...> Для полноты картины не мешает упомянуть еще и об анархистах. <...> Собрания, которые они устраивали в женевских кафе, были замечательны тем, что всегда заканчивались драками (дрались главным образом анархисты с социал-демократами), и на поле битвы оставались сломанные столы и стулья»².

Вероятно, очень существенной причиной для таких «расселений по углам» в общей партийной «комнате» являлся темперамент и волевые качества людей, большая или меньшая рассудочность или, напротив, склонность к прямому активному действию, а то уж и вовсе к волюнтаризму и т. д. Ведь нечто похожее произошло и у эсеров, от которых в годы Революции 1905–1907 гг. откололись максималисты, во многом предвосхитившие эксперименты большевиков в 1917 г.; а в 1917 г. в ПСР кроме эсеров центра (собственно эсеров) появились «левые эсеры», по темпераменту близкие к максималистам и большевикам, и «правые» эсеры типа Н.Д. Авксентьева, В.В. Руднева, И.И. Фондаминского, М.В. Вишняка, обладавшие совершенно иной физиономией. В 1921 г. Чернов скажет «правым» эсерам: «Мы по отношению друг к другу варвары, говорящие на разных языках».

Еще в 1910 г. Чернов говорил только о максималистах (то же самое можно было бы сказать и десять лет спустя о левых эсерах): «Многие элементы, характеризующиеся нетерпеливым, резко революционным и непримиримым темпераментом, которым естественнее всего было бы примкнуть к анархизму, шли в ряды ПСР, моральный и политический престиж которой был высоко поднят в глазах публики рядом громких деяний... Они-то и явились впоследствии в партии теми центробежными силами, которым не хватало только лидеров для того, чтобы выделиться в особую фракцию или даже в новую партию»³.

Взгляды и субкультура «правых» эсеров не сложились в нечто цельное, фиксированное на бумаге (несмотря на огромное количество статей, написанных ими в эмиграции) и требуют дополнительного изучения с привлечением всех источников. В этом видится одна из причин того, что ни современники, ни историки не могли вразумительно объяснить, что же из себя представляет «правый эсер». В свое время это попытался сделать Вишняк, у которого получилось пространное, патетическое и весьма расплывчатое определение. По его словам,

¹ Зензинов В.М. Пережитое. Нью-Йорк, 1953. С. 178–179.

² Там же. С. 179–180.

³ Чернов В. К характеристике максимализма // Социалист-революционер. Париж, 1910. № 1. С. 178.

«правый эсер — не сторонник лозунгов „всё или ничего“, „сейчас или никогда“, он не абсолютизирует какое-либо одно начало, исключаящее все другие, не является ни догматиком, ни тем более фанатиком, не претендует на собственную непогрешимость.

Правый эсер чужд пафоса разрушения, которое принимает в нищенской формуле „лишь как творцы можем мы уничтожить“. Правый эсер считает, что противникам следует „раскрывать глаза, а не вырывать их“. Правый эсер „исполнен стремления к свободе, напоен ее пафосом“, являясь народником и идеалистом, признающим общественные нужды и цели стоящими выше личных. „Идеологически правый эсер считает себя реалистом“, признавая и „категорический императив“, и критическую проверку разумом всех сторон жизни. Правый эсер — „патриот без шовинизма“, он знает, где его родина, но он и интернационалист»¹.

Впрочем, ему же принадлежат строки, намного рельефнее показывающие феномен «правого эсерства». Так, вспоминая о 1920–1930-х гг., Вишняк писал: «Многое отличало правое крыло партии от других групп или „крыльев“ в партии. Одной из характерных и существенных черт было то, что мы не исходили от социализма как основы основ или высшей и абсолютной ценности, а приходили к нему как к следствию и выводу, логически и исторически вытекавшему из гуманизма, демократизма, свободолюбия, достоинства человека, социальной справедливости. Это отличало нас от тех, кто по старинке считал социализм „миросозерцанием“, разделившим мир на приверженцев социализма и всех других — „буржуев“, „либералов“, консерваторов, реакционеров, фашистов... Отказавшись от претензии быть последним словом о первых и последних вещах, социализм перестал быть для нас катастрофичным, строящим новое на отрицании и противополжении всему предшествующему, обветшалому... Дух разрушения сменялся волей к творчеству и созиданию. Призыв к ненависти и классовой и национальной борьбе — зовом к солидарности, от класса исходящей и чрез солидарность нации к международному и общечеловеческому содружеству восходящей»².

В эсеровской партии складывался и еще один тип эсера и, наверное, даже еще один весьма специфический вариант эсеровской субкультуры, не похожий на базовый. Он формировался исподволь среди членов БО ПСР в 1903–1905 гг., находившихся в совершенно необычных условиях, резко отличавшихся от повседневной жизни так называемых партийных «массовиков» (пропагандистов, агитаторов, техников, комитетчиков и т. д.). Эта «субкультура», символом которой стал Савинков, была объектом критики и травли даже в эсеровской среде; против нее ополчились и «старики», и «молодые», и «массовики», и даже ряд «террористов». Боевиков называли «революционными кавалергардами», критиковали за высокомерие, дух исключительности, отчужденность от остальной части партии (Чернов накануне Первой мировой войны в неопубликованной статье «Политический террор» даже придумал очень странный план ротации

¹ См.: Вишняк М. Памяти ушедших // Новый журнал. 1953. № 33. С. 287–289.

² Вишняк М. В. «Современные записки». Воспоминания редактора. СПб.; Дюссельдорф, 1993. С. 182–183.

«боевиков» и «массовиков»¹), за игру в нищезанятость, бесконечные рассуждения о смерти, о праве на убийство, за богоискательские тенденции, наконец.

Надо сказать, что неприятие в эсеровской среде этого явления, которое можно назвать зачаточной субкультурой, ее травля и травля ее лидера и символа Савинкова отнюдь не способствовали ее расширению и привлечению новых adeptов. Сам Савинков говорил, что «его только прощают». Показательно, что Чернавский в 1909 г., вступая в БО и услышав вопрос Савинкова: «А скажите, почему Вы пошли в террор?», подумал: «Это вопрос из „Коня бледного“», и дал «самый шаблонный ответ». «Мне показалось, — вспоминал впоследствии Чернавский, — что Б.В. понял мое нежелание касаться интимных, моральных переживаний в связи с переходом на путь террористической деятельности и как будто примирился с этим»². Идеи, мысли «Воспоминаний», «Коня бледного», «То, чего не было» (с 1908 по 1913 г.), высказанные Савинковым, сделали его еще больше объектом преследования — «оплевывателем революции», «мастером красного цеха» и т. д. и т. п. Более того, Заключение ССК в 1911 г. по делу Азефа основным виновником азефщины признавало кавалергардский дух, исключительность, отсутствие контроля за БО со стороны ЦК, что не могло не возмущать членов БО³.

Впрочем, и абсолютизировать эту «партийную типичность» тоже не следует, так как по совершенно справедливому замечанию М.М. Чернавского, начавшего свой путь революционера с 1870-х гг. и затем в начале XX в. мучительно определявшегося между РСДРП и ПСР, в которых у него были старые товарищи и друзья: «Можно набрать из различных партий сколько угодно людей, похожих друг на друга, как два новеньких пятиалтынных»⁴. Ведь немало людей попадало в ту или иную партию случайно, например Н.Н. Суханов, который начал революционную работу в рядах ПСР, как он сам позднее писал, «больше в силу личных связей, чем в силу научных убеждений»⁵, и лишь позже он эволюционировал к марксизму и покинул ПСР.

Необходимо также подчеркнуть, что выработка норм общей, рамочной революционной субкультуры происходила в различных группах и на протяжении длительного времени, причем эти группы и в XIX, и в XX в. могли быть как более открытыми, так и более закрытыми, а некоторые из них имели прямо сектантский облик (кружок Ишутина, организация Нечаева). Надо понимать, что, рассматривая революционные партии, партийные организации начала XX в., мы не найдем там во всех структурах, на всех этапах организационной, идейной и, так сказать, субкультурной однородности, к чему стремятся и чего более или менее добиваются современные легальные партии. То, что мы сегодня называем местной партийной группой, а то и партийной организацией,

¹ ГАРФ. Ф. 5847. Оп. 2. Д. 1 ж. Л. 1–6, 9.

² Чернавский М.М. В Боевой организации // Каторга и ссылка. 1930. № 8–9. С. 30.

³ См. в частности: ГАРФ. Ф. 5831. Оп. 1. Д. 218. Л. 22–22 об.

⁴ Чернавский М.М. К характеристике Г.В. Плеханова (Отрывок из воспоминаний) // Историко-революционный бюллетень. М., 1922. № 2–3. С. 25.

⁵ См.: Деятели СССР и революционного движения в России // Энциклопедический словарь. М.: Гранат. 1989. С. 710.

могло быть весьма замкнутой группой, со своими взглядами, мироощущениями, а иногда и субкультурой. Совсем не случайно эсеровские агитаторы и пропагандисты так бросались на эсеровских же боевиков. Фактически это была схватка двух мироощущений, двух субкультур. А не являлось ли подобное различие одной из причин, обусловивших появление идейных течений и фракций в революционных партиях?

Вообще, всяких коллизий и различий немало накапливалось и образовывалось за годы развития революционного движения и формирования и развития его субкультуры. Весьма показателен диалог В.Н. Фигнер с Савинковым в 1907 г.: «Сравнивая прошлое с настоящим, Савинков спросил меня, что, по-моему, наиболее отличает революционера современного от революционера моего времени. Я замялась, потому что различий находила много, и он поспешил ответить сам. По его мнению, это был **мистицизм**, и в виде примера привел себя и Каляева. Мне же казалось, что главное заключалось в том, что сообразно расширению сферы и размеров деятельности требования к **деятелю** повысились, а требования к **личности**, благодаря росту численности партии, понизились. Аскетизм, свойственный прежним поколениям, исчез; бросалась в глаза большая снисходительность к разным слабостям членов партии и большая требовательность их по отношению к материальным условиям жизни (жилище, питание, развлечения); удивляло неравенство состояний, при котором в одной и той же партии одни могли нуждаться, а другие — ни в чем себе не отказывать. Конечно, это зависело от изменения в составе и численности участников движения. Легко было установить равенство и общность имуществ, когда организация была мала, а когда в партию входили тысячи членов, произошло то, что было и в Европе: братские отношения равенства среди членов партии исчезли»¹. Показательно, что Савинков говорил об одном явлении, крайне его интересовавшем, а Фигнер, только недавно выпущенной после чуть ли не четвертьвекового сидения, бросались в глаза больше внешние различия. Не случайно она же, дававшая лестную оценку Савинкова как самому «блестящему» человеку в ПСР, всё же не смогла удержаться от следующих весьма ехидных слов: «В самом деле, не смешно ли было с серьезным видом, указывая на голые руки, говорить, что нет денег на лайковые перчатки, чтобы в Париже сидеть за столиком на Тюильрийском бульваре»².

Но на «лайковые перчатки» реагировала не только Фигнер, вышедшая из тюрьмы, но и большевичка Ц.С. Бобровская, происходившая из бедной еврейской семьи и только что приехавшая в 1898 г. из Варшавы в Цюрих: «Отчетливо запомнилась обстановка, при которой я первый раз увидела Плеханова. <...> „Кто бы мог быть этот барин с такими умными глазами?“ — подумала я, а когда „барин“ вошел в подъезд, обратилась с этим вопросом к Саше, на что тот ответил недоуменным вопросом: „Неужели Вы не догадались, что это Георгий Валентинович?“ Юноша, выросший в Швейцарии, конечно, не мог понять, что в моем представлении властитель тогдашних наших дум — Плеханов не мог рисоваться в образе элегантного барина в лайковых перчатках»³.

¹ Фигнер В.Н. Полн. собр. соч.: В 6 т. М., 1929. Т. 3. С. 185–186.

² Там же. С. 196–197.

³ Бобровская (Зеликсон) Ц.С. Записки подпольщика. 1894–1917. М., 1957. С. 12–13.

Выступая 14 декабря 1996 г. в «Мемориале» на теоретическом семинаре «Субкультура оппозиционных движений в России XIX–XX вв.», в организации которого принял участие и автор данного доклада, петербургский исследователь Лев Лурье высказал несколько весьма плодотворных мыслей, требующих, впрочем, и корректировок, и дальнейшего развития (цитируем по диктофонной записи): «Здесь полезной может оказаться методология изучения вообще любых закрытых обществ, обществ с отклоняющимся поведением — это могут быть и старообрядческие толки, и „воры в законе“, т. е. некие группы, которые сплочены общей опасностью и поневоле должны общаться прежде всего друг с другом. Революционная субкультура очень сильна, и она сильнее, чем какие-либо другие субкультуры, и она медленно разрушается. И то, что в юности и молодости появляется, консервируется на очень долгий период, т. е. это субкультура, которая вырастает как молодежная контркультура и остается чуть ли не до седых волос, потому что в условиях опасности они как бы в юности герметизируются в этой компании, потому что они оказываются в тюрьме с этими же людьми, и в подполье с этими же людьми, и в эмиграции с этими же людьми в инородной среде, они как какие-нибудь пятидесятники в Канаде или староверы в Калифорнии, они образуют как бы анклав, культурные анклав, культурные скиты».

На наш взгляд, нельзя согласиться с утверждением Льва Лурье, что революционная субкультура, созданная как молодежная контркультура, «медленно разрушается» и «герметизируется», по двум причинам. Так оно и было бы, если бы созданная молодежью 1860–1870-х гг. субкультура не испытывала притока свежей крови, но в том-то и дело, что каждое поколение, толкаемое стремлением создать «молодежную контркультуру» вносило что-то свое, новое, омолаживало эту субкультуру. Порой это шло в конфликтах между «отцами» и «детьми», иногда консенсус достигался, иногда нет (и тогда возникал очередной вариант субкультуры внутри уже существующей субкультуры, как, например, в случае с эсеровскими боевиками, о котором уже говорилось выше).

Именно молодежь не давала покоя «загерметизировавшимся» в своих взглядах и вкусах «старикам», она становилась своего рода «двигателем прогресса», она заставляла в спорах и дискуссиях добавлять свое, новое, что обеспечивало развитие, обновление субкультуры, придание ей адекватности новым реалиям, в которых молодежь и родилась и которые хотела учитывать. Этот процесс обновления был постоянным и касался многих вопросов.

Обновление молодежью и взглядов, и субкультуры во многом облегчалось тем, что шла ротация революционных кадров, когда одних власти «изымали из оборота» арестами, а другие со временем просто уходили в личную жизнь и в карьеру.

Кроме того, мы бы поставили совсем иной акцент, чем Лев Лурье, в вопросе о взаимосвязи и первичности «молодежной контркультуры» и субкультуры революционера. Представляется, что революционная молодежь 1860–1870-х гг. в поисках понимания окружающего мира и своего места в нем изначально создает то, что мы бы сейчас, в привычных для нас терминах, назвали «молодежной контркультурой». Но ее носители стали реализовывать себя в основном в общественно-политическом пространстве, именно это поприще и считали для

себя главным (в отличие, скажем, от разных вариантов и конкретных форм «молодежной контркультуры» второй половины XX в., реализовавших себя кто в музыке, кто в совершении очередной «сексуальной революции», кто в виртуозном овладении «байком» и т. д. и т. п.).

Впрочем, это отнюдь не значит, что революционеры разных поколений не пытались «освоить» какие-либо другие сферы жизни, кроме общественно-политической. С одной стороны, была создана субкультура, диктовавшая революционеру и образ жизни, и формы досуга, и круг чтения, и поведенческие нормы, фактически регламентирующие его действия даже в таких вещах, как, скажем, посещение публичного дома или увлечение алкоголем, склонность к азартным играм, разгульный образ жизни и даже внешний вид и т. д. и т. п. С другой стороны, многие из них рассматривали свою субкультуру как своего рода базовую (или как прообраз) для создания культуры нового социалистического мира, которая станет синтезом их субкультуры и культуры «трудящегося народа». Не случайно в начале XX в. были популярны идеи богостроительства и «пролетарской культуры». Но это — удел наиболее «продвинутых», выражаясь языком современной молодежи. А для массы революционеров считалось аксиомой, что своей жизнью, своей борьбой, своей моралью и даже своим бытовым поведением они должны служить маяками, примерами для миллионов, прозябающих в нищете и вне «культуры».

Субкультура революционера не только родилась как «молодежная контркультура», она в ядре своем таковой и оставалась. Революционная среда в целом всё же всегда была молодежной. Исключениями были моменты, скажем, Революции 1905–1907 гг. или 1917 г., когда она была захлестнута десятками и сотнями тысяч людей разного возраста (и что важнее, другой культуры, как правило, бывших в ней чужаками), которые, впрочем, уходили в подавляющем своем большинстве весьма стремительно, при первых же репрессиях.

Естественно, что, говоря о «молодежной», мы имеем в виду не крестьянскую или рабочую молодежь и их культуру. Субкультуру российского революционера формировала интеллигентская молодежь (преимущественно гимназисты и студенты первого-второго курса), которая, правда, и сама была весьма пестрой по социальному происхождению (от дворян до детей мещан, священников, мелких чиновников и т. п.) и по той культуре, которую ее выходцы приносили с собой из своих социальных страт (не случайно в 1860-е гг. за этой средой закрепилось название «разночинной»).

По свидетельству Л.Г. Дейча, в 1877 г. в среде революционеров возраст в 25–26 лет считался очень почтенным¹. Но даже спустя три-пять десятилетий, когда заговорили о «революционных поколениях», о «революционных династиях», когда в руководстве революционных партий появилось много убеленных сединами «почтенных революционных старцев», когда появилась «бабушка» (Е.К. Брешко-Брешковская) и «дедушка» (Н.В. Чайковский, правда, из-за недостойного поведения на суде в 1908 г. потерявший это звание) «русской революции», средний возраст членов оппозиционных социалистических партий был

¹ Дейч Л.Г. Валерьян Осинский (К 50-летию его казни) // Каторга и ссылка. 1929. № 5 (54). С. 8.

весьма молодым и применительно к эсерам составлял, по подсчетам историка М.И. Леонова, не более двадцати двух лет.

О том же самом говорит черновая запись одного из лидеров эсеровской партии Чернова, посвященная роли интеллигенции в революционных партиях: «Интеллигенция: цвет, сливки, доктринеры. До 20—25 лет»¹. В этом контексте интересны имеющиеся в черновиках Чернова тезисы следующего содержания: «В обычное время — скелетообразующие кадры. Проф. революционер. Странств. апостол социализма, рыцарь, карающий насильников. В своем роде великолепный тип. Тюрьма — его университет. Допросы — экзамен на аттестат зрелости. Конспирация — быт. Состязание в ловкости и неуловимости с полицией — его спорт. Побег из тюрьмы — эпизоды. Паспортная, динамитная, шифровальная техника — его профподготовка. Пропаганда и агитация — его жизнь»².

Весьма показательна и прозвучавшая на III Совете партии в июле 1907 г. (при обсуждении вопроса о профсоюзной работе) реплика из уст эсера-обкомовца, представителя Закавказской области: «Мы и с.-д. не партия; возьмем возрастной состав: средний возраст герм[анских] с.-д. 30 лет, я член ОК — мне несколько больше 20»³. К «германским» возрастным стандартам с.-д. и с.-р. приближались только, когда речь шла о руководящих кругах этих партий (удельный вес интеллигенции также сразу во много раз возрастал). Так, среди участников I общепартийной конференции ПСР в августе 1908 г. («20 представителей областных и губернских организаций, 6 членов ЦК, 37 уполномоченных ЦК и видных теоретиков») был опрошен 61 человек. Возрастные параметры оказались следующие: в возрасте до 25 лет было 9 человек, от 25 до 30 — 19, от 30 до 35 — 10, от 35 до 45 — 12, от 45 до 64 — 10. Выделяется группа от 25 до 35 лет (29 чел. — 47,6 %). Сюда входили как представители «новой волны» (И.И. Фондаминский, В.М. Зензинов и др.), так и активные теоретики и организаторы (В.М. Чернов, С.Н. Слепов, В.В. Леонович и др.). Значителен был процент революционеров, начавших свою деятельность со времени «хождения в народ», «Земли и воли», «Народной воли», поздних народовольческих кружков. Удельный вес этой группы в партии эсеров во много раз превышал долю революционеров этого поколения в партии социал-демократов. Ф.В. Волховский, Л.Э. Шишко, М.А. Натансон, Н.С. Тютчев, Е.Е. Лазарев являли живую связь партии эсеров с предшествующим, народническим этапом общественного движения в России. Следует отметить, что они относились к центральному ядру, их роль, влияние во многом определяли лицо партии эсеров.

Чернов подчеркивал средний возраст социал-демократов, вычисленный по анкетным данным участников V съезда РСДРП 1907 г., и приводил количество обысков, побегов, лет тюрьмы и т. д.: «Лондонский съезд с.-д. 338 чел. — 597 лет гласного надзора, тюрем, ссылки, каторги. Средний возраст 28 лет — 710 привлечений к делу, 201 побег. Лондонская конференция ПСР 61 чел. — 228 обысков, 146 попаданий в тюрьму, 121 год ссылки, 104 года тюрьмы, 88 лет каторги»⁴.

¹ ГАРФ. Ф. 5847. Оп. 1. Д. 65. Л. 112.

² Там же. Д. 67. Л. 229.

³ МИСИ. Архив ПСР. Д. 145.

⁴ ГАРФ. Ф. 5847. Оп. 1. Д. 67. Л. 229.

Через всю историю революционного движения красной нитью прошло противостояние двух взаимоисключающих тенденций, оказывая противоречивое воздействие на нормы субкультуры революционера. С одной стороны, в революционном движении всегда были те, кто пытались претворить в нормах своей субкультуры свои идеалы свободы, равенства и братства. С другой — были и те, кто, подобно С.Г. Нечаеву и В.И. Ленину, декларируя «Цель оправдывает средства», во главу угла ставили интересы «революционного дела» и «политической целесообразности», относясь к своим товарищам чисто инструментально и оставляя за собой право жертвовать ими (и народом) по своему разумению во «имя революции».

«Катехизис революционера», отразивший взгляды не только Нечаева, но и Бакунина и Ткачева (хоть они позже и отрещивались и от Нечаева, и от «Катехизиса»), достаточно подробно прописавший систему ценностей и давший ряд ключевых норм революционера, был одной из первых попыток сделать свой вариант субкультуры революционера базовым для всех (или большей части) российских революционеров. И тогда, и позже идеи полного служения революции и полного подчинения себя и своих товарищей идеям революционного дела обладали сильным влиянием на темпераментные натуры молодежи и противостоять им было крайне непросто.

Громкий скандал и дискредитация в общественном мнении «Катехизиса революционера» помогли его противникам в революционной среде укрепить свои позиции и надолго дискредитировать идеи и подходы Нечаева. Надолго, но вовсе не навсегда, так как эти идеи и подходы самовоспроизводились в революционной среде и накладывали свой отпечаток и на субкультуру российского революционера.

Один из главных парадоксов — это сосуществование и непрекращающаяся борьба и этих двух взаимоисключающих принципов, и их живых носителей, неизбежно порождающие противоречия и парадоксы многих норм и практик субкультуры российского революционера, позволявшие существовать в одном пространстве личностям, имевшим куда меньше общих черт, чем различных (сравним, например, И.В. Сталина и И.П. Каляева).

После 1917 г. возникает принципиально новая ситуация. С одной стороны, новая властная субкультура большевиков (и примкнувших к ним социалистов) формировалась с максимальным подчинением личности революционера «интересам революции» и культивированием принципа верховенства «политической целесообразности» над моралью (продолжая традицию С.Г. Нечаева и ему подобных) и очищалась от «интеллигентской мягкотелости» многих норм и подходов традиционной субкультуры российского революционера.

Кроме того, произошел своеобразный «дренаж» самой революционной среды как за счет самих большевиков, так и за счет немалого числа меньшевиков, левых эсеров, эсеров-максималистов, эсеров «меньшинства», эсеров и анархистов, уходивших уже не только из своих партий, но и из старой субкультуры в пространство новой «властной» субкультуры, стремительно менявшей краеугольные камни и принципы своего существования и чем дальше, тем всё менее похожей на старую, традиционную субкультуру российского революционера.

С другой стороны, возникла ситуация, когда оппозиционные социалисты и анархисты были фактически обречены на развитие противоположных принципов и подходов, также щедро имевшихся в традиционной субкультуре российского революционера. Объяснить это можно несколькими причинами. Во-первых, сама логика противостояния толкала социалистов, оппозиционных большевистской авторитарной власти, на усиление самоидентификации за счет усиления политических свобод личности и демократии не только в «большой политике», но и в собственной субкультуре. Во-вторых, для оппозиционных социалистов и анархистов, отправленных новой властью в политизоляторы и ссылки, вопросом выживания являлось дальнейшее развитие как принципов солидарности и коллективизма, так и защиты личности и чести революционера, заложенных в субкультуре революционера. Особенно в той ее части, которую условно можно назвать тюремной субкультурой политзаключенного и борьбой за политрежим, которые стали весьма востребованы и актуальны для оппозиционных «революционной власти» революционеров.

В последующие годы физическое уничтожение социалистов привело к исчезновению в СССР субкультуры российского революционера; результатом же «морального экспериментаторства» коммунистов стала стремительная мутация традиционных норм субкультуры российского революционера и выработка ими собственной субкультуры.